

Юрий БОНДАРЁВ

(1924 — 2020)

БЕРЕГ

Отрывок из романа



Четыре долгих года набирая сумасшедшую скорость, поезд войны ворвался в Германию, как бы вонзаясь раскалёнными колёсами в каменный тупик огромного поверженного Берлина, торчащего из горячей земли мрачными скалами обгрызанных бомбёжками домов с чернеющими глазницами окон, наглухо закрытыми подъездами, где мёртво остановились лифты, где на площадках лестниц не пахло из затихших квартир немецкими супами и не слышно было ни шагов, ни стука дверей, ни обычно приветливых голосов раскланивающихся в подъезде соседей, ни этих вежливых «данке шён», «битте зер» — везде стыла сумеречная тишина пустыни, без единого во всём городе выстрела. Последняя оборона Берлина — рейхсканцелярия и рейхстаг пали. Всё было кончено. Несколько дней неистово бушевавшие в городе пожары понемногу

стихли, всюду нехотя рассеивались угарные дымы, и, словно из кровавого аспидного месива, постепенно выявлялись площади и улицы, загромождённые угольными телами обгорелых танков, развороченными баррикадами, поваленными на исколотый снарядами брусчатник трамваями, и проступали тенями согнутые фонарные столбы, завалы обугленных кирпичей, ещё тёплых, ещё курившихся. И на опустелых мостовых, перед баррикадами и за баррикадами, на перекрёстках и углах центральных улиц, зияющих проломами витрин, под полусорванными пулемётными очередями вывесками магазинов и парикмахерских, возле которых сверкали груды расколотого зеркального стекла, вблизи сожжённых машин, бронетранспортёров, исковерканных орудий — везде валялись расплюснутые гусеницами цилиндры немецких противогаров,

смятые каски с тёмными знаками орлов, зловеще раздавленные велосипеды, переломанные детские коляски, клочки камуфляжных плащ-палаток, серые русские ватники, обрывки грязных бинтов, распростёртые плоскими змейками, автомобильные скаты, разбросанные взрывной волной; и кое-где среди обвалившейся на тротуар, остро срезанной чем-то стены можно было видеть в обломках мебели затянутое кирпичной пылью пианино, его по-мертвецки разъятое, беспомощно ощеренное струнное нутро, а над хаосом разрушения — на верхнем этаже оставалась часть квартиры, часть стены, темнели прямоугольники на обоях от недавно висевших там фотографий, и люстра, чудом уцелевшая, стеклянным пауком покачивалась на паутине провода меж пробоин потолка.

Весь этот огромный зловещий город, сплошь каменный, в течение нескольких дней, содрогаясь смертельными судорогами, оскаливался огнём и будто извивался в дыму, озлобленно вскидывал толстые багровые щупальца танковых выстрелов, тонкие плети пулемётных очередей, хлещущих по пролётам улиц, выбрасывал реактивные молнии фаустпатронов из угрюмых квадратных глазниц подвалов — он выл, кипел, конвульсивно корёжился, гремел, захлёстнутый пожарами, ещё втягивая в себя, пожирая, как гигантский молох,

последние жертвы, он погибал, но ещё выказывал свои девизы, свою неуголённую жадность к человеческой крови подтверждающими знаками на останках собственной плоти — на стенах домов, на мостовых, на заборах: «Berlin bleibt deutsch», «Schlag neun Russen tot», что означало: «Берлин остаётся немецким», «Убей девять русских».

Лишь 2 мая сникли пожары, но в воздухе висел горячий пар, напитанный удушающими запахами пепла, бетонной пыли, тяжкой горькостью жжёных кирпичей с примешанным приторно-сладковатым духом где-то погребённых под развалинами трупов. Вверху обозначенных после буйства огня каменных коридоров, над закопчёнными улицами свисали зацепившиеся за балконы обрывки простыней, белых тряпок, слабый ветерок шевелил их и шевелил в чёрных провалах золу холодеющих пепелищ, бумажный мусор на засыпанных стеклом мостовых, покачивал оборванные электролинии, вытянутые к тротуарам с крыш, закрученные кольцами вокруг разбитых фонарей.

Но так по-весеннему солнечен, мягок был тот майский день, так сияли, круглились в высоком голубом небе облака, такая шла по нему неправдоподобная тишина, такое распространялось по городу чудовищное безмолвие, что до боли наполнялся, плыл звон в ушах, и казалось, не было

нигде в этом поверженном городе ни одного вооружённого солдата, ни обывателя.

Однако это было не так: Берлин, занятый солдатами, танками, орудиями, машинами, повозками, командными пунктами, хозяйственными частями, сапёрами, связистами, спустя три часа после завершающего выстрела возле забаррикадированных Бранденбургских ворот, в каком-то неожиданном торможении погрузился, как в воду, скошенный ничем не оборимым и оцепеняющим сном.

Это было почти повальное наваждение сна, не подчинённое уже сознанию, которое в неистовстве многожданного облегчения кричало, верило, ликовало, что кончилось последнее сопротивление в Берлине, последняя крепость — рейхстаг пал, и солдаты, бравшие Берлин, будто бы остановились на бегу с разжатым пределом исхода, пьяные возбуждением, свершившимся наконец счастьем, ошеломлённые тишиной. Все, пошатываясь, растёгивали пропотевшие воротники гимнастёрок, трясушимися от усталости пальцами сворачивали сигарки и тут же со слипающимися глазами, иные, даже не докурив на солнцепёке, валились под колоннами у нагретых ступеней рейхстага, на песчаные дорожки, на каменные плиты молчаливых кирх, на ковры богатых особняков, на постели брошенных квартир,

валились, не раздеваясь и не откинув толстых стёганных бюргерских одеял, спали в танках и на снарядных ящиках, сидя на станинах орудий, стоя у котлов кухонь в неловких позах, лёжа грудью на столах, на подоконниках, — пружина, сжатая четырьмя годами войны, наконец освобождённо разжалась, и её крайней точкой окончательного разжатия были не еда, не глоток воды, а сон.

Сон этот, посреди ещё местами дымившегося Берлина, продолжался несколько часов, и хотя бесперебойно работала только связь командных пунктов, непрерывно передавая в соседние армии, в Москву весть о прекращении огня в центре «логова», о падении рейхсканцелярии и рейхстага, о самоубийстве Гитлера, никто из через силу бодрствовавших строевых или штабных офицеров не нашёл бы в себе человеческой воли поднять сваленных усталостью солдат, отдать приказ прежним командным голосом, никто сейчас не имел на это права.

Облитый тёплым майским солнцем с бездонно сияющего неба, затихший Берлин глубоко спал, и, как в затянувшиеся ночные часы, повсюду наглухо закрыты были подъезды, опущены металлические жалюзи баров и уцелевших витрин, но в сумрачно затаённых квартирах чужие испуганные глаза жадно и быстро приникали к щелям

ставней, должно быть, веря и не веря в то, что видели на улицах своего старого немецкого города. Ничто уже не напоминало былого масляного блеска и утренней чистоты вымытых мостовых, нигде не было видно на всей скорости скользящих по этому блеску длинных машин генерального штаба, педантично выбритых патрулей, офицеров в плащах с пелеринами; нигде уже не было обычных ежедневных прохожих, приподымающих шляпы при встречах, покупающих в киосках свежие газеты, и молоденький,

хорошо причёсанный, весёлый кельнер в белоснежном переднике уже не нёс на подносе кружку холодного янтарного пива, не перебегал деловито улицу от ближнего бара к парикмахерской, где брился какой-нибудь любитель разнеженно отдохнуть в кресле после душистой мыльной пены на щеках, мягкой бритвы, пахучего одеколона, после горячего компресса, приятно распарившего кожу лица.

Прежнего добропорядочного, строгорежимного и размеренного Берлина не было.